

ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

РАССКАЗЫ



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Лора	3
Западный берег Коцита	9
Низкие звёзды лета	15

© Дмитрий Савицкий, 2003.
Тексты печатаются с разрешения автора.

© «Im-Werden-Verlag». Составление и оформление. 2003.
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

ЛОРА

В последний раз я ее видел на Пушкинской. Она спешила куда-то под крупным медленным снегом. Я хотел окликнуть ее, но не решился, и она прошла совсем близко, так, что на меня пахнуло знакомыми духами. Снег начал уже закрашивать ее на зебре перехода, но вспыхнули лиловые уличные фонари, и она мелькнула в последний раз возле углового армянского магазина.

Всего этого больше нет: снега, падающего заворачивающе медленно, чугунных лампионов, Лоры. Ночные улицы Парижа освещают витрины магазинов и террасы кафе. Со снегом плохо. То есть в горах его сколько угодно, но то в горах. Единственно, где мне опять померещилась Лора, это в Нью-Йорке. Был февраль, и от Лексингтона до Парк-авеню нужно было пробираться, как в Арктике, — согнувшись вдвое, ложась на ветер, скользя и карабкаясь через сугробы. Впереди меня мелькала знакомая скунсовая шубка, снег слепил, и я не мог при всем желании рассмотреть спешащую женщину. Но в какой-то момент мне показалось, что это она, Лора. Фонари светили мертво и дико, как в Москве, буксовал кеб такси в снежной каше, вдребезги пьяный верзила пытался прикурить на ветру, терял равновесие, зажигалка гасла, и он, выругавшись, швырнул ее в темноту. «Лора?» — крикнул я против ветра, прекрасно понимая глупость и невероятность положения. Женщина повернулась. Это была черная девушка с настороженным, но мягким взглядом. Я извинился и проскочил мимо.

И вот теперь душным вечером в кафе на Шатле она сидела за соседним столиком, пила кофе и смотрела в окно. Она не изменилась. Волосы были так же высоко подобраны, обнажая шею. Та же нитка тусклого жемчуга, единственное, что осталось от матери, ссыльной пианистки, спадала в вырез платья. Я помнил движение, которым она расстегивала кольцо: высоко поднятые локти, две шпильки в зубах, отсутствующий взгляд. У нее было свойство затуманиваться. Температура человеческих отношений действовала на нее, как дыхание на стекло. Она то теряла прозрачность, то была видна насквозь до неприличия. Гарсон принес мой коньяк и стоял, дожидаясь денег. Не глядя, я протянул ему сотню, я боялся оторваться взглядом от столика Лоры, словно я сам вызвал ее появление напряжением заслезившегося взгляда и любое переключение энергии, внимания, излучения могло размыть ее, как сквозняк открытой двери клубы табачного дыма. Она смотрела в сторону подсвеченных струй фонтана, но не знаю, видела ли. Боже! Как был мне знаком этот поворот шеи и эта привычка перемаргивать, меняя фокус взгляда. Пожалуй, я знал лучше это глупое перемаргивание, чем балки потолка над моей кроватью за пять лет парижской жизни.

Она достала сигареты и спички, постучала сигареткой по пачке, как это она делала раньше с папиросой, зажгла спичку и задумалась. И это было мне знакомо до какой-то внутренней щекотки — зажечь спичку и забыть про нее. Она вздрогнула от ожога и бросила спичку в пепельницу, где тут же вспыхнул маленький пожар. «Пироманки обязаны выходить замуж за пожарников» — это был предел остроумия ее брата, офицера каких-то замысловатых войск. Гарсон кончил отсчитывать сдачу и отошел. Мысль о том, что она делает здесь, в ночном кафе, где меломаны обсуждали только что закончившийся в соседнем театре концерт полуживого короля джаза, как-то не возникала. С одной стороны, я прекрасно знал, что она невыездная, с другой — я отвык от непроницаемости слова «граница». Продавщица цветов с кокетливой корзиночкой и измученным взглядом пробиралась меж столиков. Слабый запах жасмина мгновенно вызвал к жизни поворот темной после дождя аллеи и переплеск недалекой волны. «Откуда?» — спросил я бархатный рукав. «Из Туниса», — был ответ. Я купил к черенку

аккуратно привязанные, в букет собранные цветы жасмина и встал. Невидимые руки уже закрывали окно, аллея вспыхнула и погасла. «Лора...» — позвал я ее. На лице моем медленно прорастала виноватая улыбка. Я знал, что будут слезы, что будут скомканные из разных эпох слова, что мы отправимся к ней или лучше ко мне; я уже подумывал о том, что, несмотря на то что до дома рукой подать, лучше взять такси... Она наконец очнулась и посмотрела на меня. «Лора... — Я все еще улыбался. — Это же я!» Она ткнула сигарету в кофейную чашку, жест, который я никогда не одобрял, быстро-быстро высыпала на стол мелочь, и я услышал нечто нечленораздельное по-французски. В следующую секунду она вскочила. Какое-то время мы стояли друг против друга. Я, видимо, протягивал ей жасмин. «Послушай, — на нас смотрели со всех сторон, — давай поговорим. — Я попытался взять ее под локоть. Она продолжала по-французски. — Неужели и через пять лет ты не можешь мне простить какой-то чепухи?» Она вырвала руку и бросилась к двери. Подскочил гарсон, но, увидев, что за кофе заплачено, лишь смахнул со стола и унес пепельницу. Я вернулся за столик. Жасмин был телесно-розового цвета. По эмигрантской привычке я перевел ее испуг на язык шпиономании, назначил ей свидание в кафе с толстым, в роговых очках резидентом, перетасовал карты и напялил на нее вуалетку и шляпу, но Мата Хари из нее не получилась. Неужели она не узнала меня? Неужели она исчезла навсегда? Какое пошлое слово. Слово мертвое для философии, слово с дурным привкусом понимания смерти. Я залпом допил коньяк и вышел на улицу. Сухая гроза картавила над крышами. Огромный краб в аквариуме рыбного ресторана глазел на прохожих. Я остановился. И, рассматривая лязгающие по отражению моего лица клешни, я все понял. Конечно! Я же сбрил бороду! Бедная, затравленная Лора в чужом городе, быть может, только что сбежавшая из отеля, от чутких товарищей по группе, со школьным запасом французского бормотания, Лора, к которой, конечно же, лепились лениво-наглые мужланы и которых она не могла отбрить по-русски с московским шиком... Боже мой! Конечно же, я совсем изменился. Даже тогда, в России, когда я сбрил бороду в первый раз и, вернувшись домой с голым, как пятка, лицом, не открыл дверь своим ключом, а позвонил, мать, отворив дверь, глядя в упор и улыбаясь, сказала тогда: «А Саши нет. Заходите попозже...» Краб шлепал клешней, пытаюсь оттяпать мое ухо. Такой клешней хорошо стричь колючую проволоку. Я повернулся уходить, и угол зоны возле пятого поста медленно наплыл на карнавальную Сен-Дени: солнце, наколовшись на колючки предзонника, кровавило снег; на ветке ели кемарил снегирь; в дверях секс-шопа хихикала парочка.

Я стал бывать в кафе каждый день. Гарсоны привыкли ко мне, хозяин кивал из-за стойки. Я был смутно уверен, что наша встреча допроявится в ее голове и она вернется. И она пришла. Было время ланча, и кролики с крольчихами пожирали салат на террасе. Пьер, лысый гарсон лет двадцати пяти, выкатывал на улицу пустые пивные бочонки. Она стояла в дверях, дожидаясь, когда освободится проход. Темно-зеленое, цвета дачной хвои, шелковое платье было на ней. Волосы перехвачены такой же лентой. Единственно свободный столик был за моей спиной. Она, поднимаясь на цыпочках, пробиралась меж стульев. Я встал ей навстречу. Секунду она смотрела на меня, потом повернулась и вышла.

Прошло еще две недели. Однажды я видел, как она мелькнула на выходе из метро. Я выскочил с салфеткой в руке, но ее уже не было. Толпа сожрала ее — толпа между Риволи и набережной провинциально прожорлива и самодовольна. Каждый раз, попадая в ее бурление, я теряюсь. От меня не остается ничего, кроме тупого раздражения. Как сумасшедший я пробираюсь сквозь эти ленивые волны человеческого мяса и, вырвавшись, еще долго прихожу в себя.

Итак, она или жила рядом, или... Я все чаще, сначала смеха ради, а потом как вполне допустимую версию, трогал зазубренную мысль о явочном кафе. В конце концов, агенты — это и есть наши бывшие одноклассники и любовницы. На Мальте, во время дипломатического коктейля, встретил же я Валерку Ушкина, с которым прошло мое дачное детство. Я был достаточно пьян, чтобы сообразить в долю секунды, что мне лучше не узнавать его. Я издали

любовался им. Лощеный, без тени напряжения перескакивающий с языка на язык. Его готовили в Японию, и на японца он был теперь похож — язык разрабатывает адекватные мышцы лица. Интересно, под каким паспортом он путешествовал? И тогда почему бы и не Лора? В конце концов, рутина жизни агента — это не прыжки с поезда на полном ходу, а именно вялое посещение забегаловок и какие-нибудь невзрачные кивки головой.

Подобной чужью я и питался, сидя за пивом или сотерном. Выехать просто так она не могла из-за брата. Он был щитом и мечом, носил синие погоны и занимался вещами, враждебными научному марксизму, — исследованиями парапсихологии. Я терпеть его не мог. Самоуверенный, наглый тип, покрытый особым советским лоском. Любой фанерно-мраморный сезам открывался ему, стоило лишь показать краешек служебного удостоверения. В итоге, лишь бы ему насолить, не думая о том, ранит ли это Лору, я отбил у него егозливую хохотливую девицу. Признаком любого серьезного события зачастую является глупость. Она отворачивает изнанку рока. Лора ушла от меня. На руках у меня осталось шаловливое девятнадцатилетнее дитя, с которым я совершенно не знал, что делать. Снег начал падать в ту эпоху моей жизни. Не только сверху или сбоку, но и изнутри. Уехал Симонян. Смылся на надувной лодке через Эвксинский Понт Гера Чуйков. Сема Голштейн остался на гастролях. На месте Москвы образовалась густонаселенная пустыня. Я тоже подал на выезд. Как ни странно, помог мне уехать именно ее брат. До этого мне вполне непрозрачно намекали, что уехать я могу, но не на Запад, а на Восток. Но голубоглазый капитан, начальник штатных ведьм и хиромантов, нажал какую-то кнопку, и меня вышвырнуло из рая. Очнулся я в Париже. Жизнь была прекрасна, и единственно, чего мне не хватало, — его сестры.

В августе я подрядился отремонтировать квартиру хозяина ресторана, у которого время от времени я работал в баре. Деньги были хорошие, и мы закончили в двадцатых числах. Неделю я провел в Антибах на фестивале джаза, и мечта моего детства сбылась. Я познакомился со Стеном Гетцем и Маккой Тайнером. Они помирали со смеху, когда я рассказывал им про проделки наших подпольных меломанов. Мак спросил, почему бы мне не накатать несколько страниц про московских джазменов. «Даун Бит», он был уверен, оторвет статью с руками.

Я отоспался в Антибах и загорел. Вернулся я в Париж первого сентября, и в тот же вечер Лора пришла в кафе и никуда не убежала.

Счастье — слово, которого нет в моем словаре. Быть счастливым для меня еще хуже, чем быть мертвым. Точнее, это быть прижизненно мертвым. Опошление всего наилучшего в жизни — вот что такое счастье. В том, как люди произносят это слово, я вижу капитуляцию. Для меня жизнь состоит из восхитительно острых углов. Сказать «счастье» все равно что прокатить по моей жизни пятитонный асфальтовый каток. Когда меня спрашивают: ты счастлив? — меня начинает тошнить.

Мы сняли двухкомнатную квартирку возле Ботанического сада. Я все же сохранил свою крошечную студию в Маре. Она работала моделью у Анжело Тарлацци и в день получала столько же, сколько я зарабатывал за месяц уроками и стоянием за стойкой бара. Я не расспрашивал ее ни о чем. Лишь в первую ночь я пытался задать два-три усталостью анестезированных вопроса. Она бродила голая по моей студии, рассматривала безделушки на столе, открыла дубовый поставец, плеснула себе «порто», ушла в ванную и звякнула оттуда пробкой флакона. «Только бедные люди, — сказала она наконец, сидя в кровати, — бедные и одинокие имеют так много дорогих вещей...» Не то чтобы меня это задело. Вовсе нет. Но несколько вопросов уже давно толклись на выходе. Она не хотела отвечать. Я не настаивал. К чему пугать судьбу? Гораздо труднее было привыкнуть говорить с нею по-французски. От русского она наотрез отказалась. Говорила она гораздо лучше меня, и я не удивляюсь. Она была полна тайничков и тайников.

Я не удивился бы, узнав, что она, забавы ради, выучилась иглоукалыванию, ядерной физике или каратэ.

Она улетала время от времени. В Рим и Нью-Йорк, в Токио и Амстердам. И хотя моей ревности было совершенно нечем поживиться, я придумывал идиотские, на уровне рисованных

картинок, истории. Так, я совершенно серьезно подозревал ее в работе на министерство брата. Она была так хорошо вставлена в западную жизнь, так искусно вела дела, двигалась, говорила, покупала тряпки и подавала милостыню, жила с таким отсутствием комплексов, что я уверился в том, что она выпущена на волю не почирикать, а с серьезными, высшего класса, целями. Жизнь кишит совпадениями, стоит лишь этого захотеть. Взрыв бомбы в Венеции совпал с ее съемками на горбатых мостах. Похищение генерала Ллойда — с ее выступлением в Мадриде. Она была во время захвата ливийцами французского самолета и в Токио — во время покушения на премьер-министра. Хитроумно вырезанные составные картинки удалого терроризма каждый раз входили в паз ее замысловатого отсутствия. Но мысли эти обуревали меня, лишь когда ее не было. Стоило ей вернуться, заполнить воздух квартиры теплом, духами, телефонным чириканьем, музыкой, — я сдавался. Мои подозрения были постсоветской паранойей. Душа моя от долгого сожительства с социальным прогрессом была взрыта страхом и разрыхлена. Залечить, заклеить пластырем эту в прошлое повернутую сторону души моей не было никакой возможности. Ампутировать, думал я одно время...

Лора была живым талантом. Я прекрасно знал это и в Москве. Вокруг нее все начинало вибрировать. Тусклая рутинная чушь обретала с нею смысл. И любовь — еще одно слово из языка толпы — была с нею не телесной возней, а возвращением домой, прочь, прочь из этой жизни. Мы поднимались с нею в такие высокие небеса, что падать назад, возвращаться во взмокшую свалку простынь приходилось минутами. «Самые лучшие мгновенья, — сказала она однажды, — когда голова совсем выключена, когда она не способна в этот мир включиться. Наше мышление, наше полужнание и есть наказание за эту жизнь. Мы застряли, живя не между раем и адом, а между раем и раем...»

Новый год мы провели на берегу океана, в Нормандии, вдвоем. Дом, уверяла она, принадлежал ее родственникам. Я поморщился на это заявление, но сдержался. Стеклопанная стена выходила прямо на безлюдный пляж, волны были зимние, черные, с шепелявой пеной, бакланы сидели на мокрых кочках, и отражение камина плясало на стекле, на вислобрюхих полуживых тучах. Однажды, и это был как бы укол из заблудившегося будущего, сидя высоко в подушках с чашкой горячего вина, она сказала: «Ты знаешь, я не понимаю иногда, почему я с тобой... — И, увидав мое вспыхнувшее лицо, скороговоркой добавила: — Ты не бойся, я просто не понимаю...» — «Лора... — начал я и запнулся, это имя она запретила, — неужели нужно все понимать, всему дать имя? Неназванные чувства проживают свободнее... Названные обязаны уместиться в пять-шесть букв. Ты об этом? О том, что я никогда не сказал, что я...» — «Нет, — пепел ее сигареты упал на подушку, — вовсе не об этом. Мне хорошо с тобой, но я не знаю, люблю ли я тебя. Видишь, я не боюсь этого слова. Иногда мне кажется, что ты толкаешь меня куда-то. То ли в машину, где меня свяжут и увезут, то ли к обрыву пропасти. Я боюсь за тебя, Алекс. Не часто, но боюсь. Ты, может быть, хороший любовник, но плохой психолог. Ты не знаешь, что ты излучаешь...» Мы сидели в темноте. Лишь слабое пламя дрожало в камине. Фары дальней машины медленно пересекали комнату. Я взял ее руку. Она была вялой и холодной. Совсем невдалеке раздался смех. Лора потянулась и зажгла лампу. «Займись камином, — попросила она, — я думаю, к нам гости».

Это была веселая, изрядно пьяная компания ее друзей. Они прикатили из Сен-Валери и привезли с собой ужин. Кто-то тащил из машины корзину с провизией, кто-то открывал вино. Лора поставила старую пластинку с увертюрой Тристана. Они были чудные ребята. И Фредерик, и Пьер, и Соланж, и маленькая Валери. Толстяк Пьер — никогда в жизни не видел я худого Пьера, — лежа в ногах у Лоры, хохотал так, что с балок сыпалась древесная труха, и, не глядя, швырял в огонь косточки маслин. Соланж выпрашивала меня про русскую душу, а Фредерик и маленькая Валери исчезли в верхней спальне. Я слушал океан и не слушал Соланж. Мне хотелось выть. Опьянение первых месяцев с Лорой кончалось. Как когда-то в Москве, я чувствовал, что, если не сделаю решительного шага, она опять исчезнет. В Москве был бред,

псиная чушь, катастрофа. Что мог я придумать теперь, через годы? Соланж кончила мастерить самокрутку гашиша и пустила ее по кругу. Я встал и вышел. Тучи снесло, и низкое небо было полно звезд. С трудом отыскал я Скорпиона и Стожары. Океан успокоился и лишь всхрапывал. Кто-то положил мне руки на плечи. В одной была самокрутка. Она была красавицей хоть куда, Соланж. Я повернулся. Это была Лора. Она шептала что-то, и впервые — мне слышалось — по-русски.

Начиная с апреля она стала исчезать. То это был обязательный уикенд в горах, куда она не могла меня пригласить, куда ей самой не хотелось ехать, но это было важно для работы. То это был двухнедельный показ мод на Реуньон, и, конечно, ни в одном журнале я не нашел и строчки об удивительном шоу для скучающих миллионеров. Потом грянули Филиппины, откуда она вернулась бледная, без намека на загар, и, наконец, Лос-Анджелес, из которого она звонила три раза и умоляла не волноваться: она задерживается.

Само собой, я сходил с ума. Сидя в пустом ресторане, после закрытия, я пил скотч и засвечивал пленку своего воображения. Я знал, что, не дрогнув, могу уличить ее. Я не знал, что я буду делать после. В том, что она принадлежала мне, в своем праве на нее — я никогда не сомневался. Быть может, моя ошибка была в том, что я дал ей заиграться, что моя деликатная терапия не пошла ей впрок. Бывало, я просиживал за стойкой до утра и, вдогонку выпив кофе с коньяком на Контрескарп, тащился к себе домой. Волосы мои и одежда пахли табаком, в ресторане было вечно сизо от дыма. Раньше, возвращаясь, я мылся. Теперь же я просто валился на кровать и, если Бог был щедр, засыпал.

Самое удивительное, что, когда она возвращалась, я не чувствовал и тени измены. Наоборот, она была любвеобильна и, более того, в ней была другая температура страсти, другой градус. Я ничего не понимал. Мы засыпали обнявшись, но — что гораздо важнее — так и просыпались. Но конец близился, и, будь я умнее, я был бы рад скорой развязке.

Летом моя параноидная идея, что она работает на брата, вернулась с треском бумеранга. Она любила меня, любила больше прежнего, несмотря на все ее странные заявления. Но она исчезала. Кто-то выстригал из моей жизни день за днем, неделю за неделей. Кровавые стыки однажды перестали сходитьсь. Бытие мое разлохматилось, потеряло горизонтальность и направленность. Я не мог больше выносить эти шуршащие, собственного лязга боящиеся ножницы. Занавес моей жизни кромсали они: начав с маленькой, для подглядывания дырочки, гуляли теперь по черному бархату вдоль и поперек.

Ребенку было ясно, что исчезновения ее не были связаны с работой. В конце концов, были неоспоримые детали. Когда это действительно была ее работа, в доме появлялись новые сапожки, юбки, гребенки, шали — вся сказочная экипировка дуры-золушки. Несколько раз она заикнулась о том, что весь багаж теперь отправляет фирма. Но самое серьезное случилось перед ее выступлением в Лондоне. Ни за что на свете я не опустился бы до того, чтобы рыться в ее бумагах. Она сама виновата. Укатив в Руаси, она забыла на столе паспорт. Я никогда не видел ее документов. Паспорт был на имя Инее Гюмо. Фотография была Лоры, той Лоры, которая вбежала под дуло объектива с русского мороза — раскрасневшаяся, снегом дышащая... По паспорту получалось, что она на три года моложе. Что ж, она всегда выглядела моложе своих лет. Я сидел, рассматривая эту подделку, когда раздался звонок — она вернулась за паспортом и даже не входила. Я протянул ей паспорт через порог и сказал по-русски: «Сделано высший класс. Поздравь при случае брата...» Она покрутила пальцем у виска и исчезла.

То, что ей приходится рисковать, быть может перевозить нелегально какие-нибудь бумаги или фотопленки, выводило меня из себя, но, с другой стороны, заставляло любить ее все сильнее. Да, да! Любить! Я сдался этому слову. Если бы я мог хоть однажды поговорить с ней начистоту, сорвать с нее эту идиотскую маску, вымолить у нее минуту доверия... Если бы... Что дальше — я не знал. Может быть, я заставил бы ее измениться. Не может же она заниматься этим всю жизнь. Фатальный риск покинувших организацию хорошо известен, но я что-нибудь придумал бы. Мы убежали бы куда-нибудь, где их нет. Я понимал, что они присутствуют повсюду, но все

же до сих пор можно найти географическую складку, впадину, остров или горный хребет, где их зудение не столь назойливо. Или — наоборот — скандал. Гласность — лучшее оружие. Но тогда, Боже, я просто начинал сходить с ума, ее замучают допросами, заставят кровоточить ее память и, что вполне вероятно, могут одарить несколькими годами заточения. Я ведь не знал степени ее вовлеченности.

Посоветоваться было не с кем. Разговора с одним бывшим москвичом, специалистом по ржавому железному занавесу, не получилось. Я знал, что он работает кем-то вроде консультанта у хозяев «ресше», здешней контрразведки, но разговор в эту сторону подтолкнуть не удалось, а сам я толком не мог объяснить, в чем дело. Я все еще боялся выдать Лору.

Все произошло само собой. Я выследил ее. Она гуляла самым пошлым образом под ручку с толстым типом, явно из посольства. Это был парк Монсо, советская канцелярия находилась в двух шагах. Даже через шесть лет после отъезда я не мог не узнать ни этих партийных брюк, ни этой привычки не двигаться, а разгуливать в разнузданном параличе. Шея выдала его с головой. Дурная шутка: его голова. Я помнил прекрасно эти вечно напряженные красные шеи служащих культа. Решение созрело в одну секунду. Я ел мороженое, полуотвернувшись от них. Веселый колыт, купленный у ресторанного певца за сущую чепуху, рыбкой лежал в моей руке. Мороженое таяло. Я помню, как черносмородиновая капля запятнала мои брюки. Я должен был взять это на себя. Я должен был разорвать ее путы. Народу вокруг было много. Как раз то, что надо. Играли дети, судачили дамы, одиноко, положив подбородок на трость, сидели старики. Я подошел сзади. Пахнуло ее духами, и на миг у меня все поплыло перед глазами. «Лора...» — тихо позвал я, и, как и ожидал, первым повернулся он. Я держал колыт, как меня учили под Тамбовом: прижав к бедру и закрыв телом так, что выбить его не было возможности. Трех пуль ему не хватило. Я был щедр в тот день. Он получил всю обойму. Он лежал на садовой дорожке, и песок удивительно быстро впитывал кровь. Я смотрел на него и улыбался. Такие носки нельзя найти нигде в мире, кроме ГУМа. Меня держали за руку, я доедал мороженое. Лора сидела на корточках над трупом, и ее лицо, повернутое ко мне, было в ужасе. Она еще не знала, что была свободна. Я спас ее.

«Социалисты отменили смертную казнь» — вот первое, что мне сообщил дурак адвокат. По его идее я должен был радоваться. Я потребовал свидания с офицером 08Т. Адвокат не удивился, и на следующий день передо мною сидел приятного вида молодой человек, который мог бы все же немного лучше изъясняться по-русски. Я, должно быть, волновался, и моя история в первый день выходила путано. Полностью и разборчиво мы записали ее на четвертый день, и господин Жером — фамилии, конечно, не было — уехал. Я стал ждать.

То, что французы решили не предавать гласности действительную подоплеку дела, стало ясно еще на предварительном следствии. Что ж, я им не судья. Быть может, мой выстрел (мои выстрелы) выбил из звена агентуры человека, о котором они предпочитали молчать. Быть может, им было невыгодно поднимать политический скандал. Лора не была арестована. Ей разрешили видиться со мною. Я молчал. Я слишком устал, чтобы говорить и объяснять. Она сказала, что после суда уедет в Америку, что не может оставаться в Париже. «В Америку?» — думал я... О, я знал, где эта Америка...

Спектакль суда был проигран по идеальному сценарию. Ни одному намеку на действительные события не удалось проскочить наружу. Прессы почти не было. Я получил пятнадцать лет. Мотив убийства — ревность. Жертва — пожилой коммерсант из Венгрии. «Ревность — да!» — хотелось крикнуть мне, но ревность к кому? Пять тысяч четыреста семьдесят пять дней — подсчитал я еще в зале суда. Что ж, время есть воспользоваться советом Маккой Тайнера и накатать книгу. Я начал с московского подполья, но потом все бросил. Занимал меня только один вопрос: сообщаемость будущего с настоящим. Однонаправленность жизненных событий казалась мне странной. Я был всегда уверен, что, так же как прошлое присутствует в настоящем, присутствует в нем и будущее. Мой поступок безусловно существовал в будущем, так же как и последовавшее за ним, глупое по сути, наказание. Сцена

в парке Монсо проросла из будущего, дала трещину в настоящем и увяла в бумагах судебной канцелярии. Я начал писать эссе об обратной проводимости времени.

В октябре восемьдесят третьего года, ровно через двадцать четыре месяца после фатального для меня дня, я закончил труд. Бойкая девица из издательства «Колесо времени» приехала за манускриптом. У нее была тьма вопросов. Я молча улыбался. Я давно потерял интерес к внешним раздражителям. Мы выкурили по сигарете, и она ушла. Пьер, толстяк конечно, милейший парень-охранник, принес мой ужин. Я его съел. Ночью, впервые за два года, я не спал. Я не знал, с чего начинать утро.

Несколько вопросов иногда мучают меня. Знал ли я, что ты вовсе не Лора? Конечно, милая, знал. Ты была Инее Гюмо, и то был твой паспорт. Был ли я в состоянии психически ненормальном, навязывая тебе чужое прошлое, разговаривая с тобою по-русски, называя тебя не твоим именем и ожидая от тебя того, что ты не могла дать? Не знаю. Я вообще не верю в существование психических или иных норм. Неужели есть нечто, сдвиг от чего влево или вправо, вверх или вниз является сумасшествием? Зачем я это сделал? Любил ли я тебя? Мне было теперь не совсем ясно. Просто в парке Монсо на садовой дорожке скрестились лучи трех судеб, и вспыхнуло пламя. Любить? Ужасное все же слово. Да, любил. Была ли ты похожа на настоящую Лору? Не знаю. Я не знаю, была ли настоящая Лора...

1984

ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ КОЦИТА

Я знал Натана Эндрю, когда он еще был женщиной.

Дело было в России, на даче. В дальних комнатах варили варенье, на ослепшей от солнца странице сидел кузнечик, по окраине слуха глухо стучал товарняк. В середине лета в Подмоскowie иногда наступает безвременье. Кажется, что так было всегда — чистое небо с забытым над прудом облаком, горячая садовая листва, хрусткий гравий дорожки. Книга, скучающая в сетке гамака, конечно же, оказывалась «Анной Карениной», порезы лечились подорожником, доносившиеся из купальни крики были приглушены не расстоянием, а дырой во времени. Крикнешь, и крик твой, не успевая разрастись, исчезает в лазурных трещинах. Власть, газеты, радиобред, городские сплетни — все это отсутствовало. Гроза надвигалась из-за Успенского, театральная, хорошо отрепетированная гроза. Ветер задирает клетчатую юбку скатерти, опрокидывал молочник. Свирепый шмель ввинчивался в тугой воздух, но не мог сдвинуться и на миллиметр. Запах поднятой пыли и беспартийного электричества заливал округу. Хлопали окна мезонина, и все еще сухие молнии сыпались за дальний луг.

Я снимал комнату с выходом в сад, а Натан Эндрю, в те времена Наташа Андреева, был, была, были неуклюжей восемнадцатилетней девицей, пасшейся между верандой и малинником: короткие мокрые после купания волосы, исподлобья тяжелый взгляд. Мы куда-то отправлялись на велосипедах, горячо дышал сухой ельник, от рябой светотени кружилась голова. Наташа готовилась в институт и привидением бродила светлыми ночами меж яблонь: ситцевый сарафан, учебник в руках. Велосипедные поездки, вечерние купания в парной пресной воде под аккомпанимент лягушек, прогулки через луг к заброшенной церкви, ночное одалживание друг у друга сигарет, спичек, электроплитки ни к чему не привели. Я был дик, занят самим собою, мантрама-ми, кундалини, праной, самиздатовским буддизмом, самодельным дзенем. Потом дыра во времени затянулась, оказалось, что мы уже в августе, понаехали родственники хозяйки, и вечерами в саду составляли теперь вместе столы, появлялась закуска, водка, крепкоголовый майор в выцветшей майке терзал шестиструнку, и работе моей пришел конец. Накануне отъезда, вечером, Наташа зашла, как обычно, выкурить сигарету, поболтать ни о чем, покачаться в старом кресле-качалке. Ушла она под утро, и, хотя мне совершенно нечего вспомнить, я готов присягнуть, что была она все же особой женского пола.

Теперь, через одиннадцать лет, передо мною стоял наглого вида блондин в рубашке поло и джинсах в обтяжку. Татуированный коробей дрожал на бицепсе, золотая серьга была продета в мочку уха, американский паспорт торчал из кармана. То есть я, конечно, слышал, что она или он эмигрировали лет на шесть раньше меня к богатым бруклинским родственникам, но я и понятия не имел, что деньги торговцев мехами пошли на ставшее рутинным хирургическое вмешательство в замыслы Творца. Все это было объяснено кривыми полусловами на пути к переполненному японцами бару. Позже я узнал, что новоиспеченный Натан Эндрю подвергся остракизму. Бруклинская родня не могла смириться с метаморфозой. «Но даже если бы они и смирились, — мрачно улыбался Натан, — что толку? Ведь, чего доброго, потребовали бы сделать обрезание...»

Натана привез мой старинный приятель Илья. Косолапый, сутулый, из тех, про кого говорят «неладно скроен да крепко сшит». Когда-то он был чемпионом по боксу в легком весе. С тех пор к нему приклеилась кличка Муха. Жил он, на том берегу Коцита, в Москве, в трех шагах от меня, за полуразрушенной колокольней на Рождественском бульваре. Родители — и мать и отец — были на дипломатической службе и погибли в авиационной катастрофе между Хай-Кео и Чанг-Кьянг. Мухе шел семнадцатый год, его сестре было четырнадцать. Они отказались от опекуна, и через огромную, коврами выстланную квартиру, толпами пошел народ. В основном это были старшие друзья: джазмены с Маяка, актрисы из ВГИКа, шпана с Таганки, чердачные поэты, подвальные художники. Друзья приводили друзей, разбредались по комнатам, играли на гитарах, пили светлое грузинское вино, обнимались по углам. Квартира была доступна двадцать четыре часа в сутки. Ключ, если Муха с Асей отсутствовали, был под ковриком. Часто ночные или утренние гости, наткнувшись на спящих подростков в их собственной спальне, удивленно спрашивали, чьи это дети. Постепенно были проданы ковры, разбит или продан фарфор, украден зимний голландский пейзаж, при смерти был отцовский опель. Меня загребли в армию. Муха пропал из виду, слухи о нем в мой сибирский заброшенный гарнизон не доходили.

Демобилизовавшись, я не мог его разыскать. Квартира была на трех замках, телефон не отвечал. Но однажды в метро я влетел в вдребезги беременную Асю. От нее я узнал, что Муха шляется по прикаспийским степям с полоумной охотницей на снежного человека. За два года до моего отъезда, он объявился сам. С тех пор мы виделись ежедневно. То он забегал пропустить стаканчик баккарди — Куба баловала нас дешевым ромом, то я забредал к нему в Донской монастырь на кладбище, где мы, сидя в тени лип на могильных плитах, базлали о чем придется. О политике, конечно, о бабах, о том кто сел, а кто только собирается. Работал Муха в те времена в крематории и был сказочно богат.

Прилетели они налегке. Никакого багажа, ручных сумок, зонтов, клюшек для гольфа, скорострельных винтовок, воскресных журналов. Ровным счетом ничего. Даже пиджаков на них не было. Джинсы, да не слишком свежие рубахи. Бар в Руаси не самое лучшее место на свете. Мы тянули пиво, приглядываясь друг к другу. Японцы обменивались фотовспышками. Мухе я был рад, к Натану не знал как относиться. Накачавшись хеннекеном, мы отправились отлить. Естественно, Натан с нами. Втроем мы журчали на разные лады. Задрав головы. Меня так и тянуло подсмотреть, чем Натан это делает.

— Я вам такой Париж устрою, — обещал я, — по первому классу.

Видишь ли, — Муха застегивался, — мы, честно говоря, приехали по делам. Будем в запарке. Но вечера у нас свободные.

Натан, оттопырив губу, рассматривал в зеркале зуб. — Если раньше, — думал я, — в нем было что-то мужиковатое, то теперь он смахивает на бабу... — Ты сам-то, — хлопнул меня по плечу Муха, — занят?

Я был более чем не занят. Дела мои не только не шли, но и не ползли. Они не стояли и не лежали. Их просто не было. Я был в дыре, которую торжественно принимал за жизненный перекресток. За квартиру было не плачено, телефон грозились отключить, джинсы

расползались. Мысль о собственном идиотизме еще не посетила меня. Я был day-dreamer, улыбчивый кретин, уверенный в том, что именно мне суждено понять и сформулировать роковую разницу между Востоком и Западом. Естественно, практических результатов это не давало. Места на этих должностях от Ла Манша до Гудзона были заняты, а уроки тенниса перекормленным детям и вдалбливание русской грамматики худеющим стервам позволяли мне лишь сводить концы с концами. Вернее, знать насколько они не сходятся. К тому же смутная идея о том, что Запад из Востока не вычитается, и сформулировать разницу, тем более роковую, невозможно уже начала пульсировать. И Сена, сменив Москва-реку, была лишь другим берегом Коцита.

У моих американцев были ключи от чьей-то квартиры и они отправились отсыпаться. Сквозь солнечный пузырящийся Париж на них глядела нью-йоркская ночь.

На следующий день они заехали за мной на машине.

— Для начала нам нужно приодеться, — сказал Натан. — В таком виде работать нельзя. Есть что-нибудь поблизости? — Муха крутил руль, я показывал дорогу.

— Здесь, — наконец остановил я его.

— Запарковаться можно в переулке у церкви.

— Валяй дальше, — Натан чистил ногти спичкой. — То есть как? — удивился я. — Здесь не дорого и прилично.

— Никаких больших магазинов, — был ответ. — Что-нибудь тихое и уютное. Большие магазины нам противопоказаны. Мы отчалили от Самара. По дороге я думал, что у Натана наверняка сохранился в подавленной форме месячный цикл. Или же Нью-Йорк сделал из него психа.

Все было как во сне. То ли от влажной дурной жары. То ли от вчерашнего пива. То ли от скорости превращений. Мои друзья обернулись миллионерами. Они купали все подряд. Кожаные джинсы, духи, свитера, солнечные очки, купальные костюмы, запонки, галстуки, часы, перчатки. Магазин за магазином, переходя с левой стороны улицы на правую, сворачивая в переулки, не пропуская ни одной лавочки, ни одного киоска. К полудню машина была завалена пакетами, багажник с трудом закрывался, заднее сидение пришлось разгребать. Свернув к Сене, мы запарковались у самой воды. Красавица-яхта отбрасывала решетчатую тень. Загорелый черт в выцветших джинсах поливал цветы. Двери нашей машины были распахнуты, миллионеры мои переодевались. «У вас что, в Штатах, экономический кризис, — интересовался я. — Белый дом уже перекрасили в красный?» Муха был в белоснежном костюме от Валентине. Натан напялил на себя нечто невообразимое. Джеймс Бондов а ля Бруклин: розовый бархатный блейзер, шелковую полосатую рубаху с отложным воротом, черные джинсы в обтяжку. Он сидел выставив ноги в белых лаковых сапогах и распаковывал коробку с часами. Очки-порш были у него на носу, сигара торчала из кармана. Все мы взмокли, ветра совсем не было, и где-то над Сэн-Клу клубились, выстраиваясь в боевом порядке, облака. «Хорошо бы пива», — сказал Муха и облизнулся. Натан кивнул. В профиль у него были густые длинные ресницы.

Я отвел их в кафе.

— Не годится, — заглянув вовнутрь на распаренные пунцовые банкетки и угрюмую стойку, объявил Натан. Они переглянулись с Мухой. — Нет ли чего-нибудь посолиднее? Я опешил.

— В каком смысле? — В смысле цен. Нам расплачиваться наличными не интересно. Мы все берем на пластик, в кредит. Я отвел их в единственный дорогой бар поблизости. Педрилы, ледяной воздух, цены выше Эйфелевой башни.

— Почему здесь пиво? — спросил Натан. Я только начал соображать, что меня в нем раздражало — искусственный голос, короткие рубленные фразы, словно он начитался Дос Пассоса. В том, что он ничего, кроме спортивного приложения Нью-Йорк Тайме, не читает, я был уверен. Позднее я понял свой промах. Конечно, он читал бесконечные комментарии и колонки в женских журналах. Бисексуальность, маски для лица из толченого стекла, как

приготовить мартини в аравийской пустыне... Застукав его через день в кондитерской с осовелым взглядом и липким ртом, я понял, что подмосковную девицу бруклинскими штучками просто так не возьмешь, — Пиво? Не знаю. Самое дорогое франков по двадцать пять... — Окей, возьмем икорки, — Муха уже подзывал тающего от счастья гарсона. — Переведи ему... К моему удивлению, икра нашлась. — Триста грамм, — сказал Натан. — Водки бы, — простонал Муха. — Мы на работе, — огрызнулся Натан. — Господа, — встрял я, — знаете ли, почему на берегах Сены рыбы яйца? — Расслабься, — был ответ, — будь как дома...

Сидя в полутьме бара, я думал, что в такие дни солнце является единственной архитектурой города. Тяжелая солнечная стена вздымалась напротив. Мощная колонна била вверх сквозь отверстие в потолке террасы. Пучок лиловых лучей натягивал невидимый отвес на повороте винтовой лестницы. Как тишина вставлена в музыку, солнечные строения были вставлены в городские. И как пальцы, заплетенные в пальцы, они были обречены расстаться вечером. То же самое происходило и со мною. Дневные мечты гасли на закате, реальность подсовывала угрюмые камни, кривые фасады, обшарпанные углы. — Слушай, старик, — Муха не утруждал себя мазать икру на тортинку, он предпочитал, как в Москве, есть ложкой, — у вас здесь синглы-бары существуют?» Какое-то время я смотрел на него не узнавая. Неужели это мы? Он, я... Ребята с Рождественского бульвара. Где ранним летом все запущено тополиным пухом, а зимою снег сыпет с такой яростью, словно хочет выбелить до нуля, до чистого белого цвета грешный город... — Бары для холостяков? Как у нас на Второй авеню? Чтобы с девушкой можно встретиться. — У нас бляди, — сказал я. — На все вкусы. Я вспомнил неизвестно к чему, что пробираясь в толпе, Муха пользовался баскетбольными приемами. Что осталось от московского Мухи? А от меня? Пожалуй, честнее всех был Натан. Меняться так меняться. То, что мы уехали, оставили тот берег, было ясно. В то, что мы никуда не причалили, не хотелось верить. — Блядям нужно выдавать наличные, — Муха тоже приглядывался ко мне; быть может, так же как и я, лишь внешне участвуя в разговоре. — А девушек можно накачать шампанским. От пузырьков они становятся легче. Идут навзлет... Правда, Нат? Натан смотрел в угол, где у стойки переминался с ноги на ногу наголо стриженный усач. — Объясни ты ему, — сказал он наконец, — что мы с ним будем в кошки-мышки прятаться...

Способность удивляться требует наличия пустот. Ребята были на гастролях. Дома они обменялись с Фредом Мак Лавски кредитными карточками. Фред сваливал к тетке в Гонконг. Ровно через четырнадцать дней старый хмырь Мак Лавски, который натер себе мозоль на этом деле, должен был заявить узкоглазым местным властям о пропаже бумажника, двухсот тридцати двух рублей зеленью, фотографии сильно раздетой брюнетки, нескольких сабвеевских токенов и Визы, она же Амэрикен Экспресс. За это время бывшие строители мунизма должны были опустошить магазины Европы. Трюк был старый, заплесневелый, и Мак Лавски, само собой, менял мухину Визу и Натановский Экспресс на тете спозе с кем-то, отбывающим в Австралию. Вещи было условлено сдать в магазин «О'Десса» на Лонг-Айлэнд. — Помнишь Ривкина с Таганки? — тормозил мою память Муха. — Он на вторых ролях ошивался. Теперь у него двухэтажный шоп. С документами тоже проблем не было. На Брайтоне заделывали документы на любое имя. Называйся хоть Хрущевым, хоть Эйзенхауэром. Подписи молодые люди воспроизводили идеально. Фред Мак Лавски в свое время был натановским ухажером. Когда он, видимо, был ею.

Голова моя шла кругом. Натан, прикурив сигару, встал и отправился к стойке. Криво улыбаясь, он спросил что-то у усача. — Понимаешь теперь, — сказал Муха, — что происходит? Мы без копейки... И, кивнув в сторону бара, понизил голос и добавил: — А это я отказываюсь принимать. Стоило зашивать промежность, чтобы опять гоняться за мужиками. Мозгам моим это недоступно... — Мозги здесь ни при чем, — уверил его я. — Большие же магазины Натан не любит, — закончил Муха, — в больших и в ювелирных легко перекрывается выход...

Натан был в Европе по карте пятый раз. Муха, увязший с устройством дел, работавший и таксистом, и дорменом, продававший пылесосы, и, одно время ошивавшийся в секретарях у

известного фотографа, решил рискнуть и заработать на свое такси. — В крематории, старик, было легче. Бывшие совы делают в Штатах хорошую капусту. Трафик! Пуляют оружие, кокаин, героин. Потом уходят в чистый бизнес. Если такой существует. Ты бы видел Брайтон! Расцвет НЭПа. Пальба, шампанское с селедкой, блатные оркестры... Дело в том, что дальше ехать некуда. Америка — наше последнее приключение...

От фотографа Муха ушел сам. Хотя и получал хорошие зеленые деньги. — Невозможно, мужик... целый день через контору идут подростки женского пола, и каждая, каждая! готова немедленно вывернуться наизнанку. Босс работал часа три в сутки. Остальное время в студии творился сущий сатирик. — Не жалеешь, что уехал? — спросил я. — Смеешься? Жалею, что не смылся лет на двадцать раньше. Начинать нужно вместе с жизнью. А не против течения, как теперь. Теперь все впопыхах. Сучий возраст поджимает. Вернулся Натан. У него был вид утопленника. Утопшего в сметане.

Облако, жалкое скопление паров, загородило июльское солнце. Рухнули стены и колонны, растаяли контрфорсы, вместо торжественной напряженной архитектуры осталась висеть лишь легкая пыль.

Я прошлялся с ними неделю. Двухкомнатная квартира в Пасси выглядела, как склад. Натан охамел. Он тыкал пальцем в то и это. Любо́й, проживший в Штатах полтора года китаец, мог уличить его акцент. Судя по всему, у него сдавали нервы, играло очко. Вечером в ресторане он заказывал улиток да лягушек, из чего, по его мнению, и состояла французская кухня. Муха был тих, его мрачный юмор терял последние просветы. Я выбирал вино. Так как американский экспресс все еще крутил колеса, гарсоны кивали с одобрением — вино я выбирал с любовью. Воздушная зыбкая идея, зародившаяся в эти дни, уплотнялась. Я и сам начал шастать глазами по витринам, примеряя твидовый пиджак, поглаживая компактное стерео. Пожалуй, если бы и у меня был бы шанс отовариться на карту, я мог бы проскокить осень и наплевать на зиму. Два дня шопинга решили бы все проблемы. Я знал, что мне было нужно: от книг до пластинок и, если бы можно было куда-нибудь сплавить Натана, вдвоем с Мухой мы отстрелялись бы в два счета.

Я сводил их на Пигаль, показал пигалиц, протащил по Сэн-Дени. — Пора блядям делать электронные вставки, — грустно мечтал Муха, — как в уличных банках. Чтобы можно было заряжать карту. Они собирались на уик-энд в Германию. Coup de Force. Я предупреждал, что боши отличаются от лягушатников в знании Шекспира. Натан страдал животом. Муха вычислял, как бы перебраться назад в Европу. — Найди мне девицу, — просил он. — Фиктивный брак. Но тоже, чтобы не страшнее атомной войны была... — Как вы будете через таможню в Штатах пробираться? — интересовался я. — Без проблем, — Натан объедался вальюмом, — еще никто не залетал. — Мы будем первые, — вздохнул Муха.

Я уехал к друзьям в деревню на уик-энд. Я был выпотрошен, перекосячен, растерян... Сколько раз я говорил себе — никаких дел, никаких контактов с русскими, никаких попок и гулянок. Боже!... Ни свежий лесной воздух, ни тишина, о которой я так мечтал в Париже, ни внимание чуткоглазой Жанны, ни тактичные разговоры с Жаком не успокоили меня. Я лежал посредине залитой теплым лунным светом ночи, и со всех сторон на меня надвигались расцветенные витрины. Белый плащ размахивал пустыми рукавами, черный шарф мяукал котом, перчатки и галстуки скользили вдоль пустоты. Чушь, конечно, безумная чушь, без которой я мог спокойно прожить... Но это было как во сне — идти через череду магазинов и брать что угодно. Из детской сказки, выходявшей кривым боком.

Их не арестовали, их не допрашивали, даже не повысили голос, но Виза в городе Мюнхен сгорела. Просто попросили зайти завтра для выяснения обстоятельств. — Ничего, — вздыхал Натан, еще более похудевший, с еще удлинившимися ресницами и провалившимися глазами, — мы свой пятилетний план выполнили. Можно расслабиться. Мы сидели на террасе кафе в Пале-Руаяль. Все было как на картине Моне. Жирный солнечный воздух. Воздух со сливочными сгущениями. Шуршали платья дам. Бегали дети в аккуратных костюмчиках. Ползали в

песочнице упитанные карапузы. На голубой скатерти, в тени зонта, рюмка кира выглядела нахально, как на картине гиперреалиста. Человек в котелке и с тростью вышел из прошлого века, прошел мимо нашего столика, обдал запахом плесени и, во тьме аркады, исчез. Мир медленно размывало. Словно на объектив дышало разгоряченное дитя. Я взмок. Все мы были слегка взмокшие. Два гигантских пакета от Кензо уткнулись в колени пустому креслу. Я снял пиджак, повесил на спинку стула. Народ фланировал за нашими спинами: мидинетки, хорошо одетые безработные, туристы, искатели приключений. Я чувствовал, что страница моей жизни, прилипла к предыдущей и не переворачивается. — Господа, — сказал я, наконец, фальшивым голосом, — хоть я и знаю, что вы притомились, у меня есть предложение. Я хочу вступить в дело. Натан кисло посмотрел на меня. Муха попытался проснуться. — Я отдаю вам свою Визу в обмен на два дня шопинга в Париже. Вы делаете что угодно в Нью-Йорке, я же набираю товара впрок и умолкаю как сверчок до первого снега... Натан засунул мизинец под верхний резец и закатил глаз. — Надо подумать, — зевнул Муха, — извини... — «Нада» по-испански — ничего, — пробормотал Натан.

— Жмурик денег стоит, — вспомнил я формулу жизни Мухи. Дело было в столице мира Москве. — Только дурак думает, что с мертвого нечего взять... — Малый в полном порядке, — говорили в те времена про Муху, — любой гроб достать может. С гробами в столице было плохо. Можно было подобрать для карлицы или гиганта, но человек среднего роста помирал весь в сомнениях: во что положить? Где тару возьмут? Конечно, для людей со связями проблем не существовало: лакированные крышки, пурпурное нутро, подушечка, чтобы шея не затекла — лежи не хочу... И в то время, как важный покойник с серебряным рублем под языком уже плыл через Стикс, бедолага, не успевший заручиться связями перед смертью, тух где-нибудь в красном уголке под вой родственников, бессильных перед лицом официального рока. Выходило, что и на том свете номенклатура делала нос продаж и внештатным интеллям. Этим несчастным и спешил на помощь Муха. Не за бесплатно, конечно. Бесплатно в Союзе работают только генсеки и диссиденты. Общая картина выглядела так: пока родственники усердно скорбят в мраморном зале, напуганные больше тем, что и самим когда-нибудь придется лежать на цветочной грядке в парадном костюме, чем временным расставанием с драгоценным перемещенным лицом, юноша с черной повязкой на рукаве скорбно бубнит официальную скороговорку перед поставленным на платформу лифта гробом. Инвалиды-музыканты, все с картины Брейгеля-старшего, привычно тянут жилы из Шопена. Падает в обморок чья-нибудь беременная племянница. Снаружи моросит дождь или идет снег. Наконец, старик-геликонщик стучит три раза в пол деревянной ногой, подсобные рабочие в курилке бросают карты, оркестр придурков переходит на оглушающую скорбь, гроб закрывается крышкой и опускается в жуткую преисподнюю. В печь — думают родственники. Тем временем в нижнем зале идет слаженная работа. Подсобные Персефоны, ударники inferнального труда, вытряхивают Иванова из гроба, аккуратно собирают цветы и раздевают беднягу. Габардиновый костюмчик, часы марки Победа, серебряный портсигар от товарищей по службе, колечко с камушком, выходные штиблеты — вот обычно и весь улов. — Но некоторым, — рассказывал в то время ясноглазый и розовощекий Муха, — как фараону кладут в гроб любимые вещи. Кому золотую чарку с эмалевым Кремлем, кому коллекцию почетных грамот на растопку, а одному чудаку сунули под голову спидолу — Голос Америки, что ли, с того света слушать? Попадаются и аккордеоны, альбомы фотографий, кубки за первое место по метанию диска, гитары, сторублевки, грузинские кинжалы, запечатанные письма в высшую в буквальном смысле инстанцию.

Цветы шли на рынок. Вещи — скупщику в комиссионный магазин, гроб — задерганному дяде, ожидающему где-нибудь на задворках третий день. Оттого и гробы стояли частенько под цветами побитые, как паромы... Покойник же поступает в печь голым, как и родился. Что справедливо, — не забывал добавить Муха.

В те времена не только гробы были дефицитом в стране. Дефицитом была колбаса, сапоги, шапки, книги, соски — нет смысла перечислять. Иногда давали сапоги. Выстраивалась очередь.

Иногда — Бодлера. В последний раз давали Америку. Муха взял. Взял и Натан. Меня оделили Парижем. Учили же нас в детстве: дают — бери, бьют — беги...

— Слушай, — переместился я в Пале-Руаяль, — а что вы в пересменок в крематории внизу толкались, грелись, что ли? Муха посмотрел на меня, как на мучителя, который заставил его по световому лучу тащиться черт-те куда... — Ну да, — тихо сказал он, — зимою так у печки сушились. Вернулся из уборной Натан. В принципе бизнес принадлежал ему. Муха был на прицепе. Решал он. Принесли шербет, шампанское. Натан заказывал «то самое, что Пушкин пил перед дуэлью. Потому и промазал». Я его не отговаривал. — Окей, — сказал он наконец. — Нам все равно больше не протащить. Покажи твою карту. Надеюсь, ты подписываешься не как гений? Я улыбнулся. Моя скромная студия на расстоянии в две мили зарастала вещами. Кассеты сыпались на пол возле окна, Колтрейн, Каллас, Гульд; надежно укрытое от прямого солнца стерео сверкало в углу; рубашки и брюки, синее и бежевое, галстуки и шарфы падали на ворох цветной упаковочной бумаги. Стопка книг рассыпалась задетая новеньким сапогом. Я поднял бокал. Шампанское кипело. Муха опять засыпал. — Cheers! — улыбался я. За два дня я все успею. Чертовски мило с вашей стороны... Не оборачиваясь, я протянул руку к пиджаку. Его не было.

НИЗКИЕ ЗВЕЗДЫ ЛЕТА

Крошечное облако, одиноко дрейфующее в огромном небе, наехало на солнце, и сразу повеяло прохладой от воды. Это надо же, подумал Марк, столько в небе места, и все же они встретились... Облако словно прилипло к солнцу: пляж потемнел, потемнела вода и громоздящиеся над бухтой скалы. Но вдалеке, там, где скользил, не двигаясь с места, прогулочный катер, направляясь в Фео, все плавилось в волнах подвижного золота. Боб, которому на прошлой неделе исполнилось пятнадцать и которому, особенно вечером на танцплощадке, когда он небрежно смолил кубинскую «лихерос», можно было вполне дать и восемнадцать аккуратно Боб снял темные очки, аккуратно завернул их в рубашку и, потянувшись, встал. «Я пошел за водой», — сказал он хриплым ломким голосом и, перешагнув через белую, как курица, Лару, с двумя бутылками, зажатыми меж растопыренных пальцев левой руки, направился к расщелине, густо заросшей шиповником и кизилом. Там, в дрожащей тени, тошнотворно пахло всем тем, что человек оставляет после себя, а чуть выше, после трех метров крутого сыпучего подъема, пучком стрел рос дрок, черным зеркалом лежало топкое болотце и из трещины в скале сочились ледяная родниковая вода.

Марк посмотрел вслед Бобу — Боб был цвета автомобильных покрышек. Настоящий негр. Лишь длинные, к загривку прилипшие волосы были как выгоревшая трава. Марк знал, что за огромным камнем, под самой скалой, загорает жена академика — гигантская, килограммов на сто, обгоревшая до розовых струпьев, лягушка. Боб уверял, что на закате она плавает голая. «Королева медуз», — называл ее Боб. Марк знал, что Боб не врет. Медуза несколько дней назад, когда они остались вдвоем на пляже, сказала ему, пододвигаясь ближе, так, что ее огромные груди совсем вытекли из малинового купальника: «Есть такая загадка: мой рот — могила моих детей...» Ее взгляд прилип к плавкам Марка, Марк, вспыхнув под загаром, посмотрел на ее рот — густо обмазанный яркой помадой, он шевелился отдельно от лица. Ему было четырнадцать с половиной, но ребята рассказывали со знанием дела, что есть такие женщины, которые присасываются, как пиявки, — не оторвешь. С тех пор он с ужасом смотрел на толстые губы жены академика. Он еще никогда не видел по-настоящему, что у них есть. У женщин. Хотя Лара и предлагала. Но Лара предлагала всем. И она делала это со всеми. Боб говорил, что она чокнутая, но что со взрослыми женщинами интереснее. Ларе было уже шестнадцать.

Сухой звук осыпающейся земли заставил его повернуться. Боб возвращался, небрежно ступая по раскаленной гальке, — худой, широкоплечий, с лиловым двойным шрамом под ключицей: дача генерала на Морской поверх бетонного забора была обнесена колючей проволокой. Генерал жил в Крыму лишь в августе, и Боб считал, что махровая сирень, тяжело прогибающаяся под восточным ветром, принадлежит всем. Боб остановился над Ларой. Несколько тяжелых ледяных капель из наклоненной бутылки обожгли ей спину. Лара с немым криком повернулась: Боб улыбался своей знаменитой улыбкой — оскаленные зубы, прищуренные глаза. На него оборачивались на набережной даже актрисы из съемочной группы! «Видел придурков? — говорил Боб. — Солнца им в Крыму не хватает...» Животастые дядьки в настоящих американских джинсах, в майках с иностранными надписями высвечивали раскаленную полуденную набережную огромными лиловыми прожекторами.

Облако наконец отклеилось и соскользнуло в сторону Турции. Марк, мягко вскочив на ноги, подтянул плавки и, разбежавшись, прыгнул в воду. Море было как теплое жидкое стекло. Тень электрического ската мягко проплыла под ним. Марк вынырнул, набрал воздуха и круто ушел под воду. Меж обросших синими водорослями скал стояли, дымясь, солнечные столбы. Длинные негритянские ноги Боба взмутили воду над его головой. Лара, утопленницей, распустив волосы и вытаращив глаза, опускалась на дно, выпуская изо рта лопающиеся серебряные пузыри. Был слышен глухой стук мотора патрульной лодки.

Вечером, когда крыши поселка и верхушки деревьев все еще полыхали на солнце, а сады уже стояли как на дне, в темном воздухе ночи, она поднялась по боковой деревянной лестнице на его чердак. Марк лежал на сенике, читая страницу за страницей дореволюционный, тусклого золота, словарь Брокгауза. Том был на букву «М», и Марк, вступив в Мальтийский орден, переправился на Мадагаскар, обзавелся двадцати четырех зарядным маузером и рассматривал высеченный из камня лик Медузы с прической змеи, когда Лара появилась на пороге. Она была в голубом сарафане с открытой спиной и босиком. Ее русые, начавшие выгорать волосы были зачесаны за уши. Она держала в руках банку с простоквашей и смотрела на Марка, улыбаясь серьезными серыми глазами. «Я вся обгорела. Ты видел?» — сказала она, поворачиваясь спиной. Под скрещенными бретельками сарафана воспаленно горела ее пунцовая кожа. «А здесь?» — сказала она, задирая подол. Под сарафаном на ней ничего не было. На мгновение у Марка перехватило дыханье. Шум террасы, где Борис Николаевич уже тренькал на своей семиструнке, звякали стаканы и смеялась мать, перекрыл глухой шум крови. Хум-хум-хум, билось огромное сердце в голове. Лара сделала шаг в комнату и, быстро повернувшись, набросила крючок на дверь. «Софья Аркадьевна говорит, что простокваша — самое лучшее от ожогов...»

Она лежала на животе поверх сбитых простыней. Скворцы-пересмешники на все еще освещенном тополе в окне дразнили соседского кота. Марк осторожно размазывал простоквашу по ее горячей спине, стараясь не запачкать сарафан. Кожа была нежной, и при каждом движении руки Марка Лара ерзала всем телом. Бретельки были развязаны и сброшены вниз. Особенно горячими и темными были ее плечи. Марк, стоя на коленях, медленно водил мокрыми ладонями по худым лопаткам и лишь кончиками пальцев по шее — там, где были отбившиеся от зачесанных в пучок волос дымчатые завитки. Его колени и даже голова тряслись. Он сжимал зубы, потому что, как зимою на катке, у него мелко стучали зубы. Простокваша на Лариной спине высыхала моментально. Он начал смазывать спину уже в пятый раз, когда Лара, медленно шурша, повернулась. «Здесь тоже», — сказала она. Какая-то пуговица, что-то натянув, лопнула, сарафан исчез совсем. Марк, больно закусив губу, зачерпнув из банки голубой простокваши, осторожно, словно боясь обжечь или обжечься, коснулся горячей кожи. Лара вздрогнула и, подняв на него глаза, перехватила его мокрую руку и крепко положила ее на совершенно белую с темным соском грудь. Он услышал, как за его спиной в открытом окне с визгом и треском крыльев промчались стрижи. «Здесь тоже», — с запозданием сказала Лара. «Там ничего не обгорело», — шепотом возразил Марк. «Все равно». Ее рука прижимала его

руку все сильнее и сильнее, и ее грудь под его пальцами напрягалась, словно росла. Он услышал стрекот вертолета, возвращающегося из долины на заставу, стрекот перешел в ритмичное уханье, в грохот, и в следующий момент рука Лары уже вела его руку по горячему мягкому животу. Не в силах больше держать голову на весу, он уронил ее на подушку рядом с Лариной головой, прижавшись губами к ее шее, с ужасом чувствуя, как нежная шелковистая кожа переходит в нежные, почему-то мокрые волосы, затем был провал, лицо Лары повернулось к нему, ее глаза стали огромными, как тогда, под водою, и она, словно потеряв дар речи, выпучив губы, попыталась выдавить какое-то слово, но только смогла простонать. «А-а-а-а! а-а...»

«Мавр! — прогремело под окнами. — Дрыхнешь, обормот? Давай спускайся. Пора. Слышишь?» Лицо Марка было покрыто потом. Он чувствовал, как щекотный ручеек пота змеится у него между лопаток. Лара смотрела грела на него невидящим взглядом. Пальцы Марка были в чем-то вроде раздавленных персиков. Персики эти ритмично пульсировали. «Мавр?». Тяжелые шаги начали подниматься по лестнице, остановились.

Еще! — прошептала Лара. Ее дыхание было сухим и частым. «Борис! — услышал Марк голос матери. — Захвати сверху карты. На тумбочке или же в столике». Шаги начали подниматься опять. Марк попытался высвободить руку, но Лара держала ее с такой жуткой силой, что он перестал сопротивляться. Ее ноги были вытянуты, и вся она ритмично двигалась, вжимая и вжимая его онемевшие пальцы в раздавленные персики. Шаги прошли мимо. Раздался скрип пола в соседней комнате. Лара дышала все быстрее и быстрее. Глаза ее опять закрылись, лицо скорчилось. И странный звук, словно она кого-то ненавидела, родился в ее груди, поднялся к губам, она раскрыла рот и тихо, почти плача, заскулила; тело ее, вздрогнув в последний раз, обмякло. «Ты идешь?» — спросил голос совсем рядом. Марк попытался накрыть Лару, но сарафан и простыни были под нею. В потерявшей свечение заката темноте он видел по ее глазам, что ей всё всё равно. Удар ноги сбил крючок с двери. Майор Журба стоял, вглядываясь в темноту, светясь белым пятном рубахи. «Чем ты тут...» — начал его уже изменившийся голос. Пошарив по стене, майор нашел выключатель, ослепительно ярко вспыхнула голая лампа под фанерным потолком и тут же погасла. «Ну-ка, — сказал майор, — давай дуй отсюда... Сад пора поливать. И он медленно закрыл дверь за Марком.

Майор был кем-то вроде отчима Марку. Мать то хотела, чтобы они расписались, то обещала Борису Николаевичу, что выгонит его взащей. На что майор всегда одинаково громко, кривя рот и откидывая голову, хохотал. В Москве Борис Николаевич появлялся у них в квартире нерегулярно. Иногда — два раза в неделю. Иногда исчезал на месяц. Иногда — оставался и жил день за днем. Но в Крым, где у Лушиных была дача, он прикатывал на целый месяц. С гитарой, спидолой и своими неизменными шуточками. Марка он звал Мавр. Софью Аркадьевну — Марго, иногда королевой Марго. Боба — п/о, племенной осеменитель. И был страшно доволен.

Дача стояла между сухой солончаковой степью и морем. От шумного дачного поселка их отделяла в горы забирающая неширокая дорога. Дача принадлежала отцу Марка, для которого у майора, несмотря на все протесты матери, тоже была клочка. Отца он называл «еврейским вопросом». Отец жил на даче осенью или ранней весной, когда поселок был пуст и тих. Он был писателем, но последние годы его не печатали. Мать говорила — из-за дурацкого характера. Отец, с которым Марк в Москве виделся часто, объяснял по-другому: он хотел уехать. В Израиль. Или в Италию. Он бывал в Италии раньше, ездил с делегациями и просто туристом и говорил Марку, что ничего лучше в мире нет. «Белла, белла Италия!» — вздыхал он, и глаза его мутнели.

Марк размотал черный резиновый шланг за собачьей будкой и отвернул кран. Шланг вздрогнул и напрягся. Почти невидимая в уже густых сумерках струя зашуршала по листьям. В обязанности Марка входило поливать сад каждый вечер. Комары роились в темно-синем воздухе на открытых местах. Мать жарила картошку, и с кухоньки доносилось шипение масла и шкварок. Сквозь черные ветви корявого миндаля вершина Сююрюк-Кая, последнее освещенное место в округе, полыхала воспаленно-пунцовым. Как Ларина спина.

Мать уже два раза звала майора. Свежие огурцы нарезаны, посыпаны укропом. Сыроватый местный хлеб был накрыт салфеткой. «Борис! — кричала мать, пробираясь между кухонькой и террасой почти на ощупь: сковородка с картошкой в одной руке, пол-литровая банка светящегося в темноте молока в другой. — Бо-о-о-о-рис! Остынет!» Марк кончил поливать розы и пахнущие цветущим виноградом ирисы и перетащил шланг под лох. Где-то глухо простонала птица, мать подняла голову, вслушиваясь. В сомкнувшейся вновь тишине лишь был слышен густой стрекот цикад. Вода бесшумно лилась из шланга, глинистая земля впитывала ее с трудом. Тихо взвизгнула дверь на втором этаже, и фигура майора показалась на фоне неба. Он постоял, вслушиваясь, на верхней ступеньке лестницы и осторожно стал спускаться. Спустившись, он не повернул к террасе, а по траве, окаймлявшей гравийную дорожку, пошел к калитке. Возле самой ограды он остановился, расставил ноги и послышался легкий журчащий звук. Затем вспыхнула спичка, и майор, с сигаретой в зубах, направился в обход дома к террасе. Марк услышал, как мать что-то спросила и майор ответил и оба они громко рассмеялись. У матери смех был звонкий, рассыпчатый.

Струя воды теперь была направлена на бетонный блок соседнего дома. Мягко оплывая вниз, она орошала невидимые грядки петрушки, укропа, кинзы и сельдерея. Пошатнувшись, на верхней ступеньке лестницы показалась худая девичья фигурка. Звезды уже были повсюду, и небо дрожало и перемигивало. Марк увидел, как поднялись руки, укладывая волосы в пучок, опустились, одергивая сарафан. Из подводной глубины сада он видел, что Ларе холодно. Она начала медленно спускаться, время от времени останавливаясь, словно боясь упасть. Босые ноги мягко ступили на гравий дорожки, она дошла до калитки, открыла ее, повернулась, глядя в темноту, туда, где сидел на корточках Марк. Калитка закрылась, из высокой травы выбрался, отряхиваясь Чамб, соседский пес. Виляя хвостом, он засеменил за Ларой. Ее голова была закинута к небу, она что-то тихо напевала.

Борис Николаевич, густо заросший шерстью, с синими щеками и широкой лысиной, был не намного выше Марка, но грузен и широк в плечах. Боб, который был с майором на «ты», подкалывал его, спрашивая, бреет ли он пятки. Особенно заросла спина майора — настоящий свитер. Борис Николаевич знал много старинных романсов и пел неожиданно приятным голосом, перебирая короткими пальцами струны гитары. Знал он и массу похабных куплетов, на которые расщедрился не часто. Голос его в таких случаях нырял, мать махала рукою и отворачивалась, и майор выговаривал те особые жгущиеся слова мокро, словно смачивая их слюною. Марк подтянул шланг под черешни, подождал и пошел закрывать воду. Проходя мимо террасы, он бросил взгляд на освещенный низко висящим абажуром стол. Мать в открытом платье с крупными цветами и с такой же шалью на плечах улыбалась, перегнувшись, расставляя тарелки. Борис Николаевич, держа гитару почти что вертикально, тренькая настраиваемой струной, что-то шептал ей на ухо. «Да ну, ты придумываешь!» — громко сказала мать. «Я тебе говорю...» — майор резко хлопнул по грифу. Мать выпрямилась и внимательно посмотрела на заворачивающую за угол Марка. «Нет, я тебе не верю, Борис», — неуверенно сказала она.

Из распахнутой настежь кухонной двери лился грязно-желтый свет. Подтаскивая шланг, Марк увидел, как из-под напивавшейся вдосталь водою «глория деи» на дорожку выбежал черный ручеек и понес мелкий сухой мусор лепестков к ступенькам террасы. «Вы дома?» — послышалось от калитки, и долговязый Гольц, химик из Питера, блестя очками и поднимая над головой две бутылки местного белого, показался на дорожке. Борис Николаевич взял аккорд и запел нарочито фальшивым голосом: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» Майор водил с Гольцем летнюю дружбу и встречал его всегда одинаково — анекдотами про жидов, куплетами про Абрамчика или же последними новостями с Ближнего Востока. «Здравствуйте, Софочка, — сказал Гольц, поднимаясь на террасу. — Привет, Мавр!» — кинул он в темноту. «Ну-ка, Марго, сооруди-ка нам... — откидывая гитару и потирая руки, сказал майор, — грибочков-огурчиков... Там копчушка была в холодильнике, — крикнул он матери вдогонку, — в самом низу!» Марк завернул кран, шланг обмяк, струя укоротилась, ослабла, распалась на капли. Он

подтянул шланг, сложил кольцами между пустой конурой и малинником, вытер руки о штаны и пошел к террасе... Мать суетилась, то исчезая в комнатах, то появляясь у стола; двигалась она легко, как девочка, и Марку эта легкость, эта игривость не нравились. Ему было стыдно за мать, словно она делала что-то неприличное.

От картошки шел пар, и рядом стоящая бутылка водки, с почерневшей веткой полыни внутри, запотела. Помидоры были тонко порезаны кружками, политы постным маслом, посыпаны зеленым луком, малосольные, в пупырышках, огурцы плавали в трехлитровой банке. Борис Николаевич сдвинул рядком граненые стаканчики, аккуратно разлил зеленоватую водку. «Ну, чтоб нам с вами...» — сказал Гольц, показывая небритый кадык. «Чтоб нам всегда так жить!» — рявкнул майор. «На здоровье...» — сказала мать. Марк, причесанный, в чистой футболке, сидел за столом, намазывая на хлеб рыжее, как мед, топленое масло. Под абажуром вились мотыльки, время от времени глухо стучаясь об лампу. «Сема, — сказал майор, хрустя огурцом, — Марго хочет знать — обрезан ли ты?» «Фу, Борис! — отвернулась мать. — Как тебе не стыдно! Всегда придумашь что-нибудь...» «Может, покажешь?» — заржал майор. Гольц полез в карман широких холщовых брюк, и Борис Николаевич, продолжая давиться смехом, ткнул мать локтем в бок: «Он у нас без комплексов!» Гольц даже привстал, взяв с карманом. Наконец он просиял и вытащил на свет большой тюбик зубной пасты, в толстой полиэтиленовой упаковке. «Как обещано, — сказал он, — только осторожно. Зазеваешься — пальцы склеит». Борис Николаевич взял тюбик и поднес к свету. «Тот самый? БФ-2000? А чего без этикетки?» Гольц закурил, оторвав фильтр у сигареты, и, выпустив дым, объяснил: «До сих пор засекречен. Зверский клей. Чего хочешь с чем хочешь сварит. Десять секунд — и с мясом не оторвешь. Хочешь, проверим?»

Откуда-то издалека ветер принес обрывки музыки и смех. Мать пошла за второй бутылкой водки. Когда она вернулась, ее московские босоножки красовались над столом, приклеенные Борисом Николаевичем к дощатому потолку. На пустой тарелке две виноградные улитки, склеенные боками, высовывали рожки. Хлопнула дверь машины у поворота в переулочек. «Наш пижон идет, — сказал майор, — француз! Давай Рябову зад приклеим?» Гольц испуганно сверкнул глазами из-под очков и, быстро отвинтив конус тюбика, выдавил длинную прозрачную соплю на деревянную лавку. Рябов, приятель отца, критик из недавно закрытого журнала, снимал у них дальнюю комнату с отдельным входом. Он появился из тьмы улыбаясь, прижимая к груди стопку книг. — «Это тебе», — протянул он Марку обернутую в газету книгу. Марк вспыхнул от радости — это была та самая, давно обещанная книга, которую невозможно было достать в библиотеке даже в Москве. «На две недели, — сказал Рябов, усаживаясь на свободное место, — из литфондовской библиотеки...» Марк, отодвинув банку с молоком, в которой уже плавала, вздрагивая, золотистая совка, открыл книгу. Книга разломилась на двадцатой главе. «Философствовать — это значит учиться умирать» — было написано наверху.

«Водочки?» — оскалился Гольц. «А чаю нет? — потянулся к чайнику Рябов. «Ой, я сейчас поставлю!» — опередила его жест мать, счастливая тем, что может покинуть стол и террасу. «Да что вы, Софья Аркадьевна, я сам!» — вскочил Рябов. Раздался треск, и майор с Гольцем затряслись над тарелками с копчушкой. Знаменитые кожаные шорты Рябова, которые он привез из Германии, были ободраны наискосок. И, словно продолжая ту же линию, светлая полоска крови расплывалась по его загорелой ляжке. «Не сердчай, тезка... — утирал слезы Борис Николаевич, — мы тут случайно новый клей размазали. Стратегический! Сиамских улиток видел? Неразлучные! А космические сандалетки?» Мать, вернувшись на шум, только теперь заметила свои сандалетки на потолке. «Ну, это ты, Борис, переборщил... — сказала она недовольным голосом. — Как дитя малое. Лучше бы себе глотку заклеил, меньше бы отравы проходило...» И, хлопнув дверью, она ушла в комнату. Рябов принял из рук майора граненый стакан с водкой, зачем-то обернулся, посмотрев в темный сад, и, не дожидаясь остальных, залпом выпил. «Будете полуночничать?» — спросил он незнакомым Марку голосом и, хлопнув Гольца по плечу, захрустел гравием в обход дома, к своей комнате. Борис Николаевич и Гольц

все еще беззвучно давились смехом. Майор оттирал слезы рукавом рубахи. Лицо его было багровым. «Слушай, химик, а Рябов, по-твоему, не еврей? С таким-то рубильником, как у него?..» И, взяв короткий аккорд, майор, оскалась на Гольца, запел свою любимую: «Говорят, что главный жид в мавзолее том лежит! Евреи, евреи, кругом одни евреи...» «Мавр, — повернулся он к Марку, — ты у нас пятьдесят на пятьдесят, полтинник! Ну-ка, давай раздави стопаря! — Он плеснул в эмалированную кружку водки. — Посмотрим, в какую половину она у тебя просочится...» Мать, вернувшись с чайником, бросилась к столу, расплескивая кипятком. «Ай! — подпрыгнул на табурете Гольц. — Вы меня ошпарили, Софочка!» — «Ты что, Борис, — кричала мать, — с ума сошел? Парню четырнадцать лет, а ты его к водке приучаешь!» Глаза майора, когда он повернулся к матери, были налиты кровью, рот скошен. «Именно, — медленно процедил он. — Ты его все еще за детский сад держишь? Ох, и удивит он тебя однажды... До чего же бабы слепы, — перевел он взгляд на Гольца, — без тумана в башке им не прожить; это у них вечный климат... Давай, Мавр, за общих знакомых...» Марк посмотрел прямо в глаза майора, но взгляда не выдержал и, опустив глаза, поднял кружку и, лязгая о металл зубами, быстро, как Рябов, опрокинул. Водка не проглотилась сразу, а тепло разлилась во рту. Он сделал несколько судорожных движений горлом, слезы выступили из-под ресниц, жидкое тепло потекло вниз, и в голове вспыхнуло. «Давай-давай, закусывай, — пододвигал обмякшему Марку тарелку с жирной колбасой Борис Николаевич. — Врежь по дефициту...» Марку вдруг стало безумно смешно — вытаращенные глаза Гольца за толстыми стеклами круглых очков плавали как две креветки. «Марк! — услышал он голос матери. Она смотрела на него через стол не отрываясь. — Давай-ка спать...» Марк взял кусок колбасы и, продолжая смеяться, протянул майору кружку. Жирная колбаса была вкусна до чертиков. «Силен! — сказал майор. — Наша русская половина в тебе перевешивает. Давай, наваливайся!» И он пододвинул ему сковородку с остывшей картошкой, политой сметаной. В протянутую кружку, сбросив с плеча руку матери, он плеснул водки, плеснул себе и Гольцу и поднял свой стакан на уровень глаз. «За мир во всем мире!» — прохрипел он и выпил. Марк вдруг был зверски голоден. Он ел картошку, посыпая ее укропом, отламывая от буханки корки черного, тмином пахнущего хлеба. Когда мать, вздохнув, вышла в сад, майор плеснул ему водки в третий раз. «Спишь?» — хлопнул он вдруг по плечу Гольца. Гольц вздрогнул и чуть не свалился с табурета. «Пора в объятия Морфея», — сказал он. «С Морфеем одни лишь педерасты спят, — хмыкнул майор. — Чего ты себе телку не заведешь? В поселке этого товара хоть этой самой ешь...» Гольц сделал кислое лицо, встал, пошатнувшись, и попытался щелкнуть каблуками. «Местные дамы, — сказал он, — стопроцентное бактериологическое оружие. Так что — мерси... — Он чуть не упал, спускаясь по ступенькам. — Наше вам, Софочка!.. — крикнул он в сад. — Спокойной ночи...» Марк допил водку, она прошла на этот раз без запинки, и, сбив в сторону неуклюжим движением абажур, попытался поймать лохматую мучнистую ночницу. «Закуску ловишь? — спросил майор и, понизив голос, придвинулся: — Пионеркам пистоны ставим?» — «Комсомолкам!» — рявкнул Марк. «Тише ты!» — сказал майор. «А чего тише? — Марк почти кричал. — Мать, что ль, услышит? Узнает, что ты...» Договорить Марк не успел — тысячи звезд вспыхнули у него в голове, майор ударил его плоско тыльной стороной руки. Мать поднималась по ступенькам террасы, ослепшими после темноты глазами вглядываясь и все еще не понимая. Марк проглотил тугой комок, разраставшийся в горле, и, достав бутылку, сам плеснул себе в кружку. Он выпил залпом и, сбив с бахромы ночницу, поймал ее, но не в кулак, а меж пальцев. Глядя прямо в глаза майора, он отправил ночницу в рот и сжал челюсти. Через секунду он уже летел со ступеней в сад, сотрясаемый рвотой.

Окно у Рябова слабо светилось. Наверное, он читал, поставив на стул, рядом с раскладушкой, настольную лампу. Марк лежал под вишнями на старом надувном матрасе. Поверх матраса было постелено лоскутное татарское одеяло и старый солдатский бушлат. Сквозь черные растопыренные ветви Млечный Путь стекал вниз на низкие крыши поселка. Антарес стоял неподвижно над темным силуэтом дальнего холма. Наконец окно Рябова погасло,

и Марк встал — его круто шатнуло, желудок скорчился еще раз, но внутри было пусто и холодно. Прихватив банку с водой и книгу, он осторожно поднялся по лестнице. На последней ступеньке он остановился. Звезды были совсем рядом: над крышами, над степью, над холмами, над недалеким морем. Он открыл дверь и, стараясь не скрипеть, прошел к себе. Он ненавидел этот час, когда мать и Борис Николаевич оставались одни в большой комнате внизу. Он слышал голос матери, чем-то недовольный, затем наступала тишина, и в ней нарастал, становясь все отчетливей, механический скрип кровати. Он слышал голос матери, словно ей было больно, словно ей делали операцию без наркоза или как если бы она была в бреду. Он помнил, как она однажды металась и скулила в бреду — у нее был рецидив малярии. Но самым ужасным было то, что мать стонала там внизу на фоне этого механического скрипа, который учащался, переходил в галоп, и вдруг, с переменной в голосе матери — она всхлипывала, словно освобождаясь от боли, — все замирало. Чуть позже всплывал смешок майора, шлепанье босых ног к окну, чирканье сырой спички о коробок. После этого Марк обычно засыпал.

Не зажигая огня, Марк попытался привести в порядок постель. Простыни были сбиты к стене, подушка была на полу. Слабый запах Лариной кожи и простокваши перебивал другой, густой и неизвестный запах. Марк лег лицом вниз, но тут же перевернулся. Горячо пел в темноте комар. Внизу вдруг что-то ухнуло, и протяжно застонала мать. По спине Марка промчались мурашки. Он зарылся под подушку с головой. Он лежал так недолго, полчаса быть может, быть может минут сорок. Наконец глухо стукнула дальняя дверь, и он выпростался из-под подушки. Это мать ушла к себе. Она всегда спала отдельно. Борис Николаевич храпел безбожно. Звезда в окне светила ярко, как луна. Марк уставился на нее, и комната перестала раскачиваться. Он лежал так, стараясь не думать ни о чем, до тех пор, пока Марс не переполз к самой раме, потерял весь блеск, отразился в противоположной створке окна — и исчез. Марк встал, натянул футболку, на цыпочках вышел на верхнюю площадку. Было слышно, как накатывается море на берег, как звенят уже редкие в этот час цикады в степи. Он спустился вниз, внимательно глядя под ноги, добрался до террасы. Тюбик клея лежал под грязной салфеткой. Он осторожно приоткрыл дверь в комнаты. Дверь попыталась завизжать — он распахнул ее резким движением — раздался лишь короткий сухой звук. Дверь в большую комнату была открыта. Ступая бесшумно по вытертому ковру, Марк сделал несколько шагов к кровати. Майор, лежа на спине, негромко похрапывал. Место матери было пусто, но на подушке еще была видна вмятина от ее головы. В комнате пахло сигаретным дымом, пылью и чем-то кислым. Луна вышла из-за угла и лила свой голубой свет на разбросанные вещи, на приемник, стоящий возле кровати, на саму кровать. Но лицо майора, с высоко задранной подбородком и открытым ртом, было в тени. Из открытого рта ритмично поднималось хриплое бульканье. Марк зашел за изголовье кровати. Между металлическим изголовьем с большими шарами и стенкой было около полутора метров. Рука майора вдруг ожила, поднялась, почесала волосатую грудь и упала на одеяло. Марк, стоя в тени, не отрываясь смотрел в открытый рот майора. Золотая коронка сияла тускло, как серебряная, волосы из носа торчали коротким пучком. Чуть подрагивала верхняя губа.

Марк отвинтил крышку тюбика не глядя и, взяв его во всю длину, как ручку теннисной ракетки, поднес к лицу майора. На какое-то мгновение ему показалось, что веки майора дрогнули, но вслед за этим раздался звук, словно заводили мотоцикл. Барахлило зажигание, звук угас, заскрежетал вновь, мотоцикл наконец завелся, майор захрапел в полную мощь легких. Одним движением Марк перевернул тюбик и, стараясь попасть точно между зубов, сдавил его изо всей силы. Он не видел струи, но тюбик похудел вполовину, и тут же голова майора, метнувшись в сторону, начала подниматься. Марк, стукнув по передним зубам тюбиком, выдавил оставшееся и, вытягивая изо рта майора длинные нити, отпрянул к стене. Майор сидел теперь и подушках, вертя головой, бодая лунный воздух. Его чело было напряжено, грудь начала разрастаться, раздалось что-то вроде кашля, и он упал назад, стукнувшись о металлические прутья изголовья. Из его набухших, вывороченных губ вдруг показался, раздуваясь, упругий

пузырь, открылись глаза, но их выражение было слепо, прорвался кашель, и из лопнувшего пузыря темно хлынула кровь. Второй пузырь начал набухать из месива рта, дорос до грецкого ореха, из носа выбежала кровь, разделилась на два ручейка, майор вцепился руками в кровать, пытаясь приподняться, сел опять, мотая головой, шипя, запустил руку в глотку и вытащил длинные нити клея. Он начал поворачивать голову, давясь, кланяясь кому-то, сползая набок. Марк услышал глухой кишечный выстрел под одеялом. Подушка была теперь черна от крови и липла, треща, к рухнувшей на нее голове. Внутри майора булькало, словно какая-то большая машина не могла остановиться. Совсем небольшой пузырь выполз из носа, раздулся и вдруг обмяк. Борис Николаевич, таща лицом подушку, завалился набок, сползая с кровати, ноги его вытянулись, он сильно вздрогнул, и Марк услышал, как что-то чмокнуло. Рука майора, сжимавшая железную раму кровати, разжалась.

Марк вышел на террасу. Лунный свет мертво лежал на виноградных листьях. Он стянул с веревки влажное полотенце, перекинул через плечо и вышел в переулок. Поселок спал, спали собаки, зарывшись в теплую пыль, и лишь лениво поворачивали головы, издавая глухое, на всякий случай, урчание. Галька пляжа остыла и холодила ступни. Но вода была парной и, когда он вошел в нее, нежно обняла его, обвилась вокруг коленей, бедер, мягко толкнула в пах. Он нырнул, и, когда вынырнул, живая черная вода вспыхнула под ударами его рук, засветилась, раскачивая в мелких волнах низкие звезды лета.

1988-89